



## ПОПУГАЙ, ГОВОРЯЩИЙ НА ИДИШ

Гарри лег поздно. До двух часов он был с Барбарой в ресторане. Потом, пока вернулись домой, пока легли, еще полчаса, не меньше, ушло на любовные утехы, и когда наконец, чтоб лучше выспаться, он ушел из спальни от горячей и ненасытной рыжей Барбары и постелил в кабинете, вот тогда зазвонил телефон. Вырвав его из сладких глубин первого сна. В трубке послышался голос мамы. Голос он узнал сразу. Но поначалу никак не мог понять, почему она всхлипывает. Она плакала, стонала и сморкалась у себя там в кондоминиуме в Форт-Лодердейл, Флорида, и Гарри должен был это выслушивать, не совсем еще очухавшись ото сна, на другом конце Америки, в Кливленде.

Наконец он разобрал в маминых столах, что умерла Фира.

— Какая Фира?

— Не помнишь Фиру? Твоя тетя! Моя старшая сестра Фира!

Да, действительно, у матери была такая сестра. Гарри ее в последний раз видел, когда был еще маленьким мальчиком, и не помнил даже, как она выглядит. Кажется, она единственная из маминых сестер не имела детей, и это еще больше отдалило ее от младшего поколения: не было связи через

кузенов. Она пережила мужа и долго, на удивление всей родне, почти до девяноста лет, тянула одна в маленьком городишке, в Нью-Джерси, в том самом доме, который купил еще дед, переселившись в прошлом столетии из Польши в Америку.

— Меня эта новость сразила, — всхлипывала мама.

— Конечно, конечно, — сдерживая зевоту, согласился Гарри. — Но что поделаешь?.. Естественный ход событий... Дай бог нам дотянуть до ее лет.

— Я уже не дотяну... — сказала мама. — Она была здоровее всех. А я трех детей вырастила, мужа похоронила. И даже теперь мне нет покоя.

Она снова зарыдала.

Теперь она жалуется, что не дотянет до лет своей старшей сестры Фиры.

«Конечно, миссис Гомес, — подумал, но не сказал Гарри, — ваш образ жизни не способствует долголетию».

Мать, в довершение ко всем своим проделкам, взяла фамилию нового мужа и стала вместо миссис Шварц миссис Гомес. Неплохой подарочек покойнику, с кем прожила бок о бок сорок лет. Но этого покойник не знал. Гарри его еще при жизни обидел, и отец ему так этого и не простил. Вступив в бизнес, открыв свое дело, он сменил уж совсем откровенно еврейскую фамилию Шварц на англосаксонскую Блэк и стал Гарри Блэком — президентом большой инвестиционной компании, с солидными связями в Канаде, Бразилии и Европе.

Когда отец попытался его упрекнуть в том, что стыдиться своего происхождения не большая добродетель, он нашел неотразимый аргумент:

— А мое имя Гарри? Я его, что ли, выбирал? Меня назвали по покойному деду. Но не Герше-лем, а Гарри. И имя это выбрал ты, отец. Так что при нееврейском имени не обязательна и еврей-ская фамилия.

Мать и тогда была человеком более современ-ным, чем отец.

— Что Шварц, что Блэк, — рассмеялась она, — от этого наша фамилия светлее не станет.

Она имела в виду, что Блэк по-английски то же самое, что Шварц по-немецки и на идиш, и то и другое означает — черный.

Мама, миссис Гомес, молодящаяся старушка с крашенными в темно-красный цвет и, невзирая на это, по-прежнему прозрачными, как пух, воло-сами, хлюпала носом на другом конце провода.

— Когда похороны? — спросил, чтобы не мол-чать, Гарри.

— Вот об этом я тебя хотела попросить, сынок. Я не могу вылететь. У меня, как на грех, разыграл-ся ишиас, и я уже три дня не могу разогнуться. Я умру от огорчения и стыда, если кто-нибудь от нас не поедет на похороны.

— Кто? — спросил Гарри, окончательно про-сыпаясь, и почувствовал неприятный вяжущий привкус во рту от выпитой с вечера мешанины из разных вин и виски.

— Только на тебя надежда, — снова заплакала мать, — твой брат, ты знаешь, в отъезде, а Сюзан никак не сможет. Я ей звонила. С кем она детей оставит? Ради меня... умоляю... там будут все... и от нас тоже должен быть кто-то... бедная Фира... она тебя так любила... ты был крошкой... и мы на два месяца к ней тебя завезли... когда с твоим отцом

ездили в Европу. Гарри... Это моя последняя просьба... Я ведь тоже скоро уйду вслед за Фирой.

Дальше пошли такие густые рыдания, что Гарри ничего не оставалось, как согласиться.

Настроение было испорчено. Лететь черт знает куда, терять дорогое время, отменить столько деловых встреч, и лишь для того, чтобы потолкаться среди малознакомых родственников, собравшихся со всей Америки в этот жалкий городишко, откуда три поколения назад пошел их род на американской земле, притворно вздыхать и делать печальное лицо, говорить пустые, но приличествующие случаю слова и выслушивать комплименты и неискушенные восторги по поводу его, Гарри Блэка, не сглазить бы, блистательной карьеры.

Он плохо проспал остаток ночи и утром заказал билеты на дневной рейс в Нью-Йорк. Не один билет, а два. Рыжая Барбара, его любовница с роскошным ирландским телом, белым и усеянным веснушками, не захотела оставаться дома одна. Она уже второй месяц жила у Гарри. Он привез ее из Лос-Анджелеса, где она дебютировала в фильме, финансированном его, Гарри, компанией. Дебютировала не она, а ее тело. В фильме Барбара по большей части снималась обнаженной и в сексуальных сценах была настолько пластична и выразительна, что срочно заказали еще несколько сценариев подобного рода, уже специально для нее, чтоб продлить коммерческий успех, достигнутый первым фильмом. До начала съемок Барбара перебралась к Гарри в Кливленд, и с тех пор он почти каждую ночь пил и не высыпался.

Появиться среди своей еврейской родни с рыжей Барбарой, которую многие, возможно, виде-

ли в фильме и поэтому знают, как она выглядит без одежды, было не совсем удобно и, конечно, не приличествовало печальному поводу, сведшему всю семью вместе. Потом, кое-кто знал Кристину, жену Гарри, с которой он уже три года в разводе, помнили, несомненно, его детей, живущих теперь в Калифорнии с отчимом. Это все вызовет недоуменные взгляды, незаданные вопросы, еврейское пожимание плечами и переглядывания друг с другом за его спиной.

— Я никогда не бывала на еврейских похоронах, — сказала Барбара за завтраком, разметав по голым, в веснушках, плечам свою рыжую, с медным отливом, гриву. — Это должно быть забавно.

Гарри не смог ее убедить, что лучше ей остаться в Кливленде и дожидаться его возвращения. Барбара настояла. И единственное, в чем она ему уступила, — не наложила, как обычно, много краски на лицо и ресницы и поэтому в самолете выглядела мятой и словно неумытой.

Городок, в котором умерла тетя Фира, казалось, ни в чем не изменился с тех пор, как Гарри мальчиком провел здесь лето. Он даже узнал дом, немного старомодный, из красного кирпича и без привычного гаража. Покойная автомобилем не пользовалась. Только деревья перед домом — толстые буки — разрослись неимоверно, и нижние ветви тяжело лежали на крыше.

Когда-то эта улица, да и все прилегающие были заселены исключительно евреями. Теперь население сменилось полностью: в окнах и на тротуарах мелькали одни черные лица. Тетя Фира была последней еврейкой и последним белым человеком во всей округе.



Евреи, окрепнув и разбогатев, переселились в лучшие районы, а в их обветшалые дома въезжали другие бедняки — негры и пуэрториканцы. Даже синагога, в двух домах от тети Фиры, тоже была брошена, и сейчас там пели псалмы негры-баптисты, а на кирпичных стенах по-прежнему виднелись шестиконечные иудейские звезды.

Поэтому вся религиозная часть похорон проводилась в нескольких милях отсюда, в роскошном — сплошной парк — еврейском районе с новой современной синагогой из стекла и бетона.

Тетя Фира, сморщенная, маленькая, как ребенок, лежала в отлично сделанном, недешевом гробу. Молодой упитанный раввин говорил много похвальных слов о ее благочестивой жизни и ставил покойницу в пример сидевшим на скамьях похоронного дома, хорошо одетым, холеным евреям и еврейкам, среди которых отлично вписалась съехавшаяся сюда родня Гарри Блэка. Даже Барбара не совсем выделялась. На скамьях попадались похожие англосаксонские лица блондинок. По всей видимости, жены евреев, при замужестве перешедшие в иудаизм.

В комнатах тети Фиры было запустение, какое бывает в жилищах старых, потерявших подвижность людей. И мебель, и картины на стенах были старыми, ветхими, их поставил здесь еще дед, приехав из Польши, и никто их с тех пор не сдвигал с места.

На комод с облупленными боками в высокой клетке из позеленевших медных прутьев сидел, нахохлившись, на перекладине старый зеленый попугай с красным пятном над клювом, касаясь длинным хвостом кучки помета — клетку давно

не убирали. Глаза попугая были затянуты розовой кожей, и казалось, он спит среди шума в переполненном гостями доме. Лишь изредка пленка сдвигалась с круглых глаз, клюв приоткрывался и попугай издавал вздох, какой может издать только старый еврей, когда он чем-то опечален:

— Ай-яй-яй-яй-яй.

И все в комнате вздрагивали, и кое-кто даже улыбался.

Старушонка, из тех, что навешала покойницу, объяснила приехавшим, что этот попугай был долгие годы единственным собеседником тети Фиры и перенял все ее манеры и привычки. Тетя Фира под старость почти забыла английский и рассуждала сама с собой на языке предков — на идиш. Попугай вторил ей. Такая умная птица! Он даже научился картавить, точь-в-точь как евреи в польских местечках.

— Знаете, — сказала старушка, моргая розовыми, как у попугая, без ресниц, веками, — во всем нашем городе они только двое разговаривали на идиш. Остальные забыли. Даже я еле помню.

Она повернула сморщенное личико к попугаю и сказала пару непонятных слов. На идиш, догадались все в комнате и даже привстали с мест, ожидая, что ответит попугай.

Попугай совсем по-еврейски, с мировой скорбью в круглых глазах, посмотрел на них и, ничего не ответив, сдвинул, как занавески, розовые пленки на глазах.

Гарри листал старый альбом в малиновом бархатном переплете, с залысынами в местах, где их касались пальцы. Рыжая Барбара через его плечо разглядывала фотографии, пожелтевшие, в тре-



щинах. Здесь был и дед с бородой, в черной фуражке-картузе, какие носили в ту пору в Российской империи, и бабка в черном платке, по-крестьянски повязанном под подбородком. И мать Гарри, нынешняя миссис Гомес, — маленькая пухлая девочка со светлыми локонами и в юбке колоколом, в ту пору не подозревавшая, что есть такая болезнь по названию ишиас.

Все свое имущество покойная завещала еврейской общине, а так как в основном это был хлам, то порешили пригласить сюда эмигрантов из СССР — пусть выберут, что им приглянется. Родственники согласились взять лишь по какому-нибудь незначительному предмету на память. Как сувенир. Гарри остановил свой выбор на медном подсвечнике-меноре, куда вставляют на Хануку восемь свечей и каждый день зажигают по одной. Менора была прошлого столетия, из Восточной Европы. Из багажа деда.

Все брали по одной вещи. И Барбаре тоже захотелось что-нибудь взять.

— Можно попугая? — попросила она Гарри, неуместно блеснув порочными глазами.

Он усмехнулся, пожал плечами:

— Мало тебе хлопот? Возьми.

И стал думать об оставленных дома делах, о предстоящих переговорах с инвесторами из Торонто, приезд которых он из-за похорон передвинул на один день.

Как попугай перенес перелет из Нью-Йорка в Кливленд, они не знали: он ехал в своей клетке в багажном отделении самолета.

В доме Гарри Блэка клетку с попугаем поставили в гостиной между тумбой со стереофоническим проигрывателем и высоким торшером: Барбара

вычистила клетку, налила свежей воды, протерла каждый медный пруттик, и клетка засверкала, как пожарный колокол.

А менору с восемью пустыми чашечками для свечей поместили в противоположном углу, где Гарри собрал коллекцию сувениров, привезенных из дальних деловых поездок. На стене щерились черные ритуальные маски из Африки. На полу сидел, расставив круглые колени, упитанный бронзовый Будда, купленный в Бангкоке. Над ним печально смотрел с креста деревянный распятый Христос с длинным удивленным лицом, которого Гарри раздобыл в Польше. Русская темная икона мерцала тусклой позолотой оклада. И маленькая менора совсем потерялась в этой коллекции.

Гостиная была большая, просторная, полная света, и воздух был чистый и прохладный, процеженный через кондиционер. А старый попугай задыхался. Ему недоставало захламленной тесноты, привычных запахов лекарств, играющих в солнечном луче пылинок, веток бука, хлопающих по мутному, давно не мытому окну.

Вечером пришли гости. Канадский партнер Гарри из Торонто Сэм Винстон, такой же высокий и уже начинающий полнеть еврей, как и Гарри.

«Какой он Винстон? — почему-то ухмыльнулся в душе Гарри. — Тоже сменил фамилию, чтоб выглядеть ВАСПом. Небось, отца зовут Кац или Рабинович».

С Сэмом приехала его секретарша Жаннет — канадская француженка. Не такая вульгарная, как Барбара, но зато и с меньшим зарядом секса.

И еще одна пара. Кливлендский адвокат Брюс Мортон и его подружка — коллега по конторе, незамужняя Майра Кипнис. Оба евреи.

Сначала они обедали в загородном клубе. Вечером ввалились к Гарри, уже изрядно отяжелев от еды и питья. И принялись танцевать, включив на всю мощь стереопроектор.

Попугай вздрагивал в своей клетке, ерошил перья, втягивал голову в плечи, высунув лишь желтый, как слоновая кость, кривой клюв.

Барбара, пьяная, заплетающимся языком рассказала гостям о попугае. С ним попробовали разговаривать. Он не отвечал. Жаннет задала вопрос по-французски.

— Идиоты! — вспомнила Барбара. — Он знает лишь один язык... еврейский.

— Иврит? — спросил Сэм.

— Нет, идиш, — ответил Гарри. — Моя покойная тетя пользовалась только этим языком, объясняясь с попугаем. После смерти тети попугай остался последним могиканином, понимавшим идиш.

Все рассмеялись удачной шутке хозяина дома. Темноволосая Майра вздохнула:

— Я тоже немножко понимаю. Честное слово. Мой дедушка с бабушкой, когда хотели что-нибудь утаить от моих ушей, пользовались этим языком.

— Спроси его на идиш, — загорелась Барбара.

— Не умею. Спрашивать не умею. Лишь немножко понимаю.

Они отстали от попугая.

К ночи гости перепились. Женщины утомились от танцев, перегрелись и стали обнажаться, сбрасывая понемногу с себя всю одежду. Барбара сняла даже трусики и раскинулась на ковре, широко расставив ноги, подтверждая, что все в ней натурально и роскошные волосы — свои, некра-

шенные; на ее лобке пониже выпуклого живота кудрявился рыженький пучок.

Возле Барбары клевал носом Сэм Винстон. Без пиджака и без рубашки, но в брюках. В одной руке он держал бокал с кусочками тающего льда, а ладонью другой мял плоско опавшие груди Барбары.

Гарри на другом конце целовал секретаршу Сэма — Жаннет, раздевающуюся не совсем до конца. Брюс и Майра жались на диване. Голова Брюса с закрытыми глазами покоилась на ее коленях, а голова Майры была запрокинута на спинку дивана и глаза устремлены в потолок.

Стереофонический грохот, оборвавшись, умолк — кончилась пластинка, и механический рычаг, потрескивая, переворачивал ее другой стороной. И пока было непривычно тихо, вдруг слышался скрипучий горестный вздох:

— Ай-яй-яй-яй-яй...

Как будто старый как мир еврей хочет пожаловаться на свою судьбу.

И Барбара, и Сэм, и Гарри, и Жаннет, и Брюс, и Майра повернулись к попугаю.

Старая зеленая птица потопталась серыми скрюченными лапами на перекладине и изрекла четко:

— Вей из мир! Вос хот геворн мит ди идн! (Горе мне! Что случилось с евреями!)

— Что? Что он такое говорит? — вскочила на четвереньки голая Барбара.

— Он говорит на идиш, — сонно сказала с дивана Майра. — И если я его поняла правильно, он сказал мало лестного о нас.

## НАШ ПРЕЗИДЕНТ

**Я** приехал в гости в Мевасерет-Цион — маленький поселок для новых репатриантов в Иудейских горах под Иерусалимом. Мой друг встретил меня на автобусной остановке в прорубленном в скалах ущелье и повел по асфальтовому серпантину, чтобы по мостику перейти на другую сторону шоссе.

На автостраде машины кишели, как муравьи, а на перекинутом высоко мостике и на самой дороге к поселку было пустынно в этот час. Потом вдали показалась автомашина, большая и дорогая. Кажется, «кадиллак». А впереди неслись на сверкающих никелем мотоциклах два дюжих парня в черных кожаных куртках и галифе и в белых пластиковых шлемах.

— Это — президент Израиля, — почтительно сообщил мой друг. — Тут, в горах, его дача, и он каждое утро в сопровождении охраны едет в Иерусалим в свою резиденцию.

Мы сошли с дороги и остановились, чтоб пропустить кортеж, а заодно поближе рассмотреть президента еврейского государства, которого я знал лишь по газетным портретам, и он мне казался очень похожим на старенького детского доктора, как их рисуют в сказках для детей.

При виде сверкающих мотоциклов сопровождения и черного лака шикарного автомобиля я не-



вольно подтянулся, как бывший офицер, вытянул руки по швам и от волнения и торжественности почему-то захотел затянуть негромко, хотя бы шепотом, государственный гимн.

«Кадиллак» с мотоциклами впереди миновал мостик, а мы ждали его на повороте, круто уводившем асфальтовую ленту вниз, к автостраде. Мотоциклисты лихо заложили глубокий вираж, наклонив машины под опасным углом. И один мотоцикл, потеряв равновесие, шлепнулся на асфальт чуть не под колеса «кадиллака», чудом успевшего затормозить. Белый пластмассовый шлем охранника покати́лся по насыпи. Сам охранник лежал на земле и морщился, потирая рукой в черной перчатке ушибленное плечо.

В черном «кадиллаке» открылась дверца, и на асфальт неуверенно ступил седенький еврейский дедушка в черной старомодной шляпе и таком же пальто, засеменяя к упавшему мотоциклу, кряхтя опустил на одно колено и прижал к себе голову своего незадачливого стража. Дюжий парень, затянутый в черную кожу, стал всхлипывать на его плече, а он гладил его кудрявую голову, совсем как своему внуку. Выглядело это все нелепо и комично, как в еврейском анекдоте, но поверьте мне: вместо того чтобы рассмеяться, я чуть не заревел в голос. Потому что такое можно увидеть только в еврейском государстве, непохожем на все остальные. И до своих последних дней я никогда не забуду этой картины: плачущий солдат, ушибший плечо, и глава государства, утешающий его, как дедушка.

## СОЛДАТСКИЕ ШТАНЫ

Солдатские штаны. Цвета хаки. Или оливкового цвета. В зависимости от рода войск. С обилием карманов сзади и спереди. Заправленные в шерстяные носки и в высокие армейские ботинки, которые весят полпуда, особенно в такую жару, какая бывает на Ближнем Востоке.

Казалось бы, что поэтического и возвышенного может быть в солдатских штанах? Простите, но это для вас. А что касается меня... то, когда я вижу эти самые солдатские штаны цвета хаки или оливкового цвета, только что выстиранные и вывернутые наизнанку со швами наружу и множеством болтающихся карманов, вывешенные для просушки на балконе иерусалимского дома, мое сердце начинает биться учащенно.

Потому что это уже не штаны, а флаг, сообщающий всем окружающим балконам, что обладатель этих штанов, хозяин дома, благополучно вернулся из армии, жена, плача от счастья, выстирала их и гордо вывесила штанинами вверх и в разные стороны для всеобщего обозрения как знак семейного торжества.

Когда кончилась война Судного дня и первые партии солдат хлынули домой с Голанских высот и Суэцкого канала, бородатые, просоленные и гряз-

ные, на многих балконах Иерусалима затрепетали на сухом ветерке солдатские штаны цвета хаки и оливкового цвета, с которых жены и матери, мешая слезы с мыльной пеной, отстирали песок пустынь и копать взрывчатки.

Свесившись с бельевых веревок, солдатские штаны словно кричали всей улице со своих балконов:

— В нашем доме полный порядок! Радуйтесь, люди хорошие, вместе с нами!

А на тех балконах, где не было видно солдатских штанов и сиротливо болтались пустые бельевые веревки, было траурно неуютно и одиноко. В те дома или еще не вернулись, или уже никогда не вернутся мужчины.

Я помню старушку, сгорбленную, опершуюся на посох, сощурившую слезящиеся глаза на балконы с солдатскими штанами. Она пальцем считала каждую пару и бормотала, как молитву:

— Слава Богу, слава Богу... Еще раз слава Богу. Господи наш, никого не обойди, вывесь на каждом балконе солдатские штаны.

Глядя на эту бабушку, я, к тому времени тоже демобилизованный и вывесивший свои выстиранные штаны на нашем балконе, вспомнил такую же старушку, что повстречалась нам в первый день войны, когда мы, резервисты, только что облачившиеся в военную форму, еще не опомнившиеся от неожиданности, мчались в реквизированных для нужд армии пассажирских автобусах из Иерусалима на север, к Голанским высотам.

В нашем автобусе было человек пятьдесят солдат. Новенькое обмундирование еще мешковато и неудобно сидело на нас, каски сползали на глаза

на всех неровностях дороги. Мы были взвинчены, день был сухой и жаркий, в горле пересохло, язык стал шершавым, как наждак. Мы мучительно хотели пить.

Шофер автобуса не меньше остальных страдал от жажды, и хоть был строжайший приказ не останавливаясь мчаться к Голанам на помощь нашим отступающим частям, как только мы въехали в какой-то поселок, подрулил к маленькому магазину с бутылками кока-колы на вывеске и со скрежетом затормозил, распахнув и передние и задние двери.

Пятьдесят солдат ворвались в эту крохотную лавочку. Вернее, там поместилось не больше десяти, остальные толпились снаружи, и им из рук в руки передавали поверх касок запотевшие в холодильнике бутылки.

Хозяйка магазина, женщина лет под семьдесят, очень похожая на Голду Меир, суетилась у прилавка. В считанные минуты мы опустошили весь магазин. Выпили все, что было возможно пить. Всю кока-колу, содовую воду, апельсиновый и грейпфрутовый соки. Тем, кому не хватило напитков, пришлось довольствоваться водой из крана.

Старушка отдала нам весь свой товар, все запасы. Магазин был крохотный, не из богатых, и все, что мы выпили, было единственным достоянием старенькой хозяйки.

Освежившись и ожив, мы полезли в карманы за деньгами.

— Сколько с нас, мамаша?

Солдаты весело галдели, суя ей деньги. Задние с улицы передавали смятые фунтовые бумажки, пригоршни мелочи.

Хозяйка магазина подняла руку, как бы отстраняя деньги, и шум понемногу улегся.

— Не надо платить, — тихо сказала старушка. — Я вас очень прошу. Заплатите потом... когда поедете назад... Только, будьте добры, вернитесь живыми... Ладно? Тогда и заплатите мне.

Каюсь, я не уплатил за напитки и после войны. Никак не мог вспомнить, какой дорогой мы ехали на фронт, в каком поселке остановились попить.

Но когда я увидел старушку с посохом, считавшую скрюченным пальцем солдатские штаны, вывешенные после стирки на иерусалимских балконах, я вспомнил и ту, что напоила нас в первый день войны, отдав все, что имела. И хоть у меня давно нет своей матери, как никогда прежде, я почувствовал, что еще не осиротел.



## ВОЛЧИЦА

Солнце стояло в зените, южное, знойное, и лишь раскрытые по всему пляжу многоцветные зонты давали спасительные круги тени в этом пекле. Курортники уползали под защиту зонтов, оставив на смятом желтом песке обрывки газет, семечную шелуху и арбузные корки.

Азовское море тускло сверкало стеклянной глазурью, и скользивший с задранном носом теплоход на подводных крыльях, казалось, полз белой мухой по вязкому киселю.

Утопая коричневыми босыми ногами в раскаленном песке, брела по пляжу старуха, не из курортниц, а из местных жителей. В кофте и юбке, старых и рваных, с непокрытой головой, подставив немилосердному солнцу космы невымытых волос, она являла собой резкий, нестерпимый контраст холеным телам в кокетливых купальниках и бикини на ковровых подстилках в многоцветной тени зонтов. У старухи было сморщенное, продубленное солнцем лицо и запавший беззубый рот. Она бесчувственно ставила в раскаленный песок ноги, просушенные до костей, с шелушащейся, как у змеи, чешуйчатой кожей и глубокими черными трещинами на пятках.

Старуха не была нищенкой и не просила милостыни. Она не останавливалась у каждого зон­та и не клячила гривенник.

Она брела по песку, изредка вскидывая ладонь к глазам и прикрываясь ею от слепящего солнца, вглядывалась в людей под зонтами, словно иска­ла кого-то.

И останавливалась с глупой ухмылкой, если находила среди голых тел человека с еврейской физиономией. Особенно широко улыбалась она, обнажая пустые десны с единственным и желтым, как у лошади, зубом, когда видела еврейскую се­мейку с непременно толстой, распирающей ку­пальник мамашей и упитанными, раскормленны­ми детьми.

Она приближалась к ним, как ведьма из дет­ской сказки, и ее сумасшедшая улыбка и нездоровый блеск в глазах увеличивали это сходство. Не доходя до тени из-под зон­та одного шага, она опу­скалась на колени в песок на самом солнцепеке и начинала причитать, подвывая:

— Деточки мои родненькие! Еврейские мои глазоньки! Точь-в-точь как у моих доченок... Как у Маруси... Оксаночки... и у Ривочки... Младшую звали так... по покойной матери моего мужа... Цар­ство ему небесное... и деточкам моим.

Дальше из ее тихих, как бы заученных причи­таний выяснялось, что она из этих мест и до Вто­рой мировой войны была учительницей в сельской школе. Она — украинка, а замуж вышла за еврея.

— Хороший человек был, ничего не скажешь. Ей-богу, — словно оправдывалась она. — Ничего худого не могу припомнить. Не пил, руку никогда

на меня не поднимет. А что заработает, то в дом тащит... для меня и для доченок.

Жили они так, пока не началась война и не пришли немцы. Зимой, когда мелководное Азовское море покрылось льдом, полицаи забрали мужа и всех троих девочек. То, что мать у девочек украинка и в них течет лишь половина еврейской крови, не приняли во внимание. Всех евреев полагалось по приказу убить, и никакого исключения не делалось.

Погнали их по льду, подальше от берега, как раз напротив того пляжа. Тогда здесь пляжа не было, а только дикий берег. Сделали проруби во льду и стали сталкивать туда евреев, топить их.

— И моих деточек... Оксаночку... Марусечку... и Ривочку... как щенят, утопили. Я потом, как ушли полицаи, бегала туда, а проруби уже льдом затянуло. Думала, весной растает, выкинет их на берег, можно будет в могилке схоронить... Не выкинуло... Так и лежат в море... как рыбки... Кто заплывает далеко, может, и увидит их.

Она оборачивалась к морю, заслонялась от солнца рукой и шурилась на расплавленное зеркало, тряся головой и что-то пришептывая.

Евреи, смущаясь, слушали ее причитания. Словно они чем-то были повинны в горе этой свихнувшейся украинской старухи. И совали ей деньги. Не мелочь. А бумажные рубль или даже два.

Старуха брала эту дань не благодаря, а как положенную ей плату и поднималась с колен со вздохом:

— Трудное дело быть евреем. Врагу своему не пожелаю.

И шла дальше босыми ногами по раскаленному песку, выискивая под зонтами еврейские лица. Найдя, она опускалась на колени и заводила все ту же песню, как патефонную пластинку. Теми же словами. Не меняя интонации.

Я дал ей три рубля. Хотя и не поверил ни одному ее слову. Она казалась мне хитрой бестией, ловко эксплуатирующей еврейскую чувствительность. И три рубля я ей дал в награду за находчивость.

Правда, уходя с пляжа, я, в нарушение обычая, не выкупался на прощанье в море. Постоял у кромки воды, как у края могилы, и не отважился сунуть туда ногу.

А вечером я гулял вдоль моря. Дул освежающий ветерок, море напозало на песок и со вздохом откатывалось, оставляя клочья тающей пены, как пряди седых волос.

Зонтики уже не стояли, расправив многоцветную ткань, а, опущенные, со сложенными крыльями, они торчали пиками в песчаном безлюдье, и луна отражала их остроконечные тени на чистом и темном песке.

Пляж был пустынен и чист. Весь мусор убрали граблями, и волнистые линии тянулись по леску почти у самой воды, на которой серебрилась и мерцала, уходя к горизонту, зыбкая лунная дорожка. И в том месте, где лунное серебро упиралось в берег, колыхаясь и вспениваясь, темнел силуэт не то собаки, не то волка, присевшего на задние лапы с задранной к небу мордой.

— У-у-у-у, — выл силуэт на луну.

Меня охватила дрожь.

Волк взмахнул передними лапами и воздел их над головой, совсем как человек, и голосом нищей старухи заголосил:

— Деточки мои родненькие! То я пришла до вас... ваша мама. Как вы там? Как ваши косточки? Холодно небось в глубине! А? Откликнитесь. Я очень по вас соскучилась.

И снова волчьим воем залилась на луну:

— У-у-у-у... Господи, растолкуй мне... Ну, евреев бьют... Это понятно... А моих деточек кровных за что?

Темный силуэт волчицы умолк, вперившись в медный лунный диск, и, не дождавшись ответа, тоскливо и надсадно завыл:

— У-у-у-у-у...



## БЕЛЫЕ НОЧИ

**На** фронте авиация по ночам отдыхает.

С наступлением темноты самолеты, отбомбившись и отстрелявшись, спешат к своим полевым аэродромам, чтоб успеть приземлиться засветло, и летчики спокойно заваливаются спать до рассвета. Даже зенитчики, хоть и не покидают своих постов у орудий и пулеметов, задранных стволами к темному небу, тоже сладко подремывают, потому что знают: до первой зари им не придется приступить к работе — вражеские летчики в это время тоже спят.

На фронте авиация по ночам отдыхает.

За исключением Северного фронта.

Летом на Севере — белые ночи. Эти ночи ничем не отличаются от дня. Так же светло. И так же светит солнце. Правда, низко-низко, над самым горизонтом. Это и есть полярный день, который тянется не одни, сутки, а целых полгода. Потом наступает полярная ночь, и становится темно круглые сутки, и так тянется тоже полгода.

Поэтому лишь на Севере авиация по ночам не отдыхает. Ночи стоят белые, и самолеты взлетают и садятся и тогда, когда на юге день, и тогда, когда на юге ночь. Все двадцать четыре часа в сутки.

А самолетов на Севере не так уж и много. Фронт считается не главным, второстепенным. Вся авиация сосредоточена на центральном и южном участках советско-германского фронта. А в тундре, на ее бесконечных пространствах, до тоски однообразных, без единого деревца, с зыбким мхом на оттаявшей сверху вечной мерзлоте, редко попадает военный аэродром. Обычно — это одна взлетная полоса, проложенная среди сдвинутых в стороны лысых гранитных валунов, называемых «бараньими лбами». Из тех же камней, отполированных еще в ледниковый период, выложены стенки капониров, куда под маскировочные сетки загоняют вернувшиеся с задания самолеты и откуда по сигналу тревоги они выруливают на взлетную полосу. «Бараньи лбы» надежно защищают сверху от бомбежки землянки и блиндажи, вырытые глубоко в оттаявшем грунте: там живут пилоты, технари, готовящие самолеты к полетам, оружейники, набивающие магазины пулеметов патронами и орудийные обоймы — снарядами, ремонтники, латающие пробоины на крыльях и фюзеляжах машин, врачи и медсестры, тоже латающие, но уже пилотов, до которых добралась пуля через пробоину в стенке кабины. В отдельных землянках расположились зенитчики, стерегущие небо от налетов вражеской авиации. А еще подальше, совсем в стороне, горбятся «бараньими лбами» зарытые в грунт казармы БАО — батальона аэродромного обслуживания. И там же под открытым небом материальная часть, даже не затянутая маскировочными сетями: тракторы, бульдозеры, грузовики.

Дальше — тундра. Во все стороны. Со впадинами зеленеющих болот и каменными выпуклостями сопок. До ближайшего населенного пункта километров пятьдесят по разбитой и часто непроезжей дороге. По этой дороге на аэродром поступает снабжение: горючее, боеприпасы и продовольствие. Автомобили идут колоннами, чтоб подталкивать и вытаскивать застрявшие машины. Идут, надрывно гудя моторами, буксуя в вязкой жиже, скрежеща карданным валом и осями по выпершим камням.

А со взлетной полосы уходят в небо остроносые истребители с красными звездами на крыльях. Уходят парами: ведущий и ведомый. Уходят красиво, как трассирующие пули ввинчиваясь в небо. Пропадают за серым горизонтом. Связь тогда с ними аэродром поддерживает по радио. Помочь им ничем нельзя. Только переживать за них и надеяться, что все обойдется благополучно.

Нередко так и бывает. Возвращаются оба — и ведомый и ведущий. Легкие, словно половину веса потеряли. На последних каплях горючего. Израсходовав весь боезапас. С парой пробоин в крыльях и фюзеляже. Такой день считается на аэродроме удачным. А уж если в рапортах значится сбитый самолет противника, тогда уж день совсем хороший. И всему персоналу аэродрома, даже солдатам из батальона обслуживания, по распоряжению командира полка дважды Героя Советского Союза полковника Софронова, начальник продовольственного снабжения капитан Фельдман выдает дополнительных, сверх положенной нормы, сто граммов спирта, разведенного пополам с водой.

## СОДЕРЖАНИЕ

Попугай, говорящий на идиш .....	5
Наш президент .....	16
Солдатские штаны .....	18
Волчица .....	22
Белые ночи .....	27
Осведомитель .....	49
Муж графини .....	83
Праведник .....	93
Субботние подсвечники .....	100
Загадочная славянская душа .....	124
Еврейские мелодии .....	156
Исключение из правила .....	165
Морская болезнь .....	171
Фамильное серебро .....	186
Потомок Чингисхана .....	196
Берлинские окна .....	227
Эхо войны .....	236
Судный день .....	251
Очки .....	270
Женщины из Цфата .....	274
Молитва .....	278

Литературно-художественное издание

ЭФРАИМ СЕВЕЛА  
ПОПУГАЙ, ГОВОРЯЩИЙ НА ИДИШ

Ответственный редактор Кирилл Красник  
Художественный редактор Валерий Гореликов  
Технический редактор Татьяна Раткевич  
Компьютерная верстка Светланы Шведовой  
Корректоры Елена Шнитникова, Анна Быстрова  
Главный редактор Александр Жикаренцев

Подписано в печать 05.09.2017. Формат издания 75 × 100<sup>1/32</sup>.  
Печать офсетная. Тираж 2000 экз. Усл. печ. л. 12,6. Заказ №

Знак информационной продукции  
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

18+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —  
обладатель товарного знака АЗБУКА®  
119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 4

Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»  
в Санкт-Петербурге

191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»  
04073, г. Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами  
в ООО «ИПК Парето-Принт».  
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1, комплекс № 3А.  
[www.pareto-print.ru](http://www.pareto-print.ru)

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве: ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (495) 933-76-01, факс: (495) 933-76-19

E-mail: [sales@atticus-group.ru](mailto:sales@atticus-group.ru); [info@azbooka-m.ru](mailto:info@azbooka-m.ru)

В Санкт-Петербурге: Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (812) 327-04-55, факс: (812) 327-01-60

E-mail: [trade@azbooka.spb.ru](mailto:trade@azbooka.spb.ru)

В Киеве: ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»

Тел./факс: (044) 490-99-01. E-mail: [sale@machaon.kiev.ua](mailto:sale@machaon.kiev.ua)

Информация о новинках и планах на сайтах:

[www.azbooka.ru](http://www.azbooka.ru), [www.atticus-group.ru](http://www.atticus-group.ru)

Информация по вопросам приема рукописей и творческого сотрудничества  
размещена по адресу: [www.azbooka.ru/new\\_authors/](http://www.azbooka.ru/new_authors/)



Y-WAK-18633-02-R